

Петербург Достоевского

«На улице жара стояла страшная, к тому же духота, толкотня, всюду известка, леса, кирпич, пыль и та особенная летняя вонь, столь известная каждому петербуржцу... Нестерпимая вонь из распивочных... и пьяные... Чувство глубочайшего омерзения мелькнуло на миг в тонких чертах молодого человека».

Так начинается «Преступление и наказание». Это — петербургский воздух, глубина картины. И уже после преступления, когда Раскольников идет в контору квартального надзирателя, «на улице опять жара стояла невыносимая; хоть бы капля дождя во все эти дни. Опять пыль, кирпич и известка, опять вонь из лавочек и распивочных, опять поминутно пьяные, чухонцы-разносчики и полуразвалившиеся извозчики. Солнце ярко блеснуло ему в глаза, так что больно стало глядеть и голова его совсем закружилась, — обыкновенное ощущение лихорадочного, выходящего вдруг на улицу в яркий солнечный день».

Больше, чем кто-либо, Достоевский понимал, какое «несчастье обитать в Петербурге, в «самом фантастическом городе, с самой фантастическою историей из всех городов земного шара», в этом хваленном «парадизе» Петра Великого, построенном словно нарочно, с «сатанинским умыслом», с насмешкой над людьми и природой, не столько для естественной жизни, сколько для противоестественной смерти людей.

Однажды Раскольников, уже после убийства, проходя в летний день по Николаевскому мосту, остановился и оборотился лицом к Неве, по направлению к дворцу.

«Необъяснимым холодом веяло на него всегда от этой великолепной панорамы; духом немым и глухим полна была для него эта пышная картина...»

Не тот ли это самый «холод», подобный могильному холоду призраков, не тот ли «дух немой и глухой», от которого спасается и пушкинский «жалкий безумец», слыша за своей спиной

Как будто грома грохотанье —
Тяжело-звонкое скаканье
По потрясенной мостовой.

Из этого страшного духа, как будто чуждого, западного, на самом деле, родного, древнего русского, дохристианского, богатырского, духа Петра и Пушкина вышел Раскольников — в значительной мере вышел и сам Достоевский.

«Град Петра» — не только «самый фантастический», но и самый прозаический из всех городов земного шара. Рядом с ужасом бреда — не меньший ужас действительности.

Кто лучше знает Петербург, кто больше ненавидит его и чувствует к нему сильнейшее «омерзение», чем Достоевский? И вот бывают же, однако, минуты, когда Достоевский прощает вдруг все и за что-то любит этот город, как и Петр любил свой чудовищный парадиз, как и Пушкин любил «Петра творенье». «Пасынка природы», самый отверженный из городов, которого и жители втайне стыдятся, Достоевский умеет силой своей любви делать трогательным, жалким, почти милым и родным, почти прекрасным, хотя бесконечно-болезненной, но зато и не всем доступной, «необщей» «декадентской» красотой.

«...Есть у меня в Петербурге, — признается Подросток, — и несколько мест счастливых, то есть таких, где я почему-нибудь бывал когда-нибудь счастлив, — и что же, я берегу эти места и не захожу в них как можно дольше нарочно, чтобы потом, когда буду уже совсем один и несчастлив, зайти погрузиться и припомнить».

«...Я люблю, — говорит Раскольников, — как поют под шарманку в холодный, темный и сырой осенний вечер, непременно в сырой, когда у всех прохожих бледно-зеленые и больные

лица; или, еще лучше, когда снег мокрый падает, совсем прямо, без ветру, знаете? а сквозь него фонари с газом блистают».

«Привел он меня, – рассказывает другой герой, – в маленький трактир на канаве, внизу. Публики было мало. Играл расстроенный, силпый органчик, пахло засаленными салфетками; мы уселись в углу.

– Ты, может быть, не знаешь? Я люблю иногда от скуки... от ужасной душевной скуки... заходить в разные вот эти клоаки. Эта обстановка, эта заикающаяся ария из “Лучи”, эти половые в русских до неприличия костюмах, этот табачище, эти крики из бильярдной — все это до того пошло и прозаично, что граничит почти с фантастическим».

Точно такие же «грязенькие» трактиры-«клоаки» — следы петербургской «Европы», и «там, во глубине России» — встречаются во всех романах Достоевского. В них-то происходят самые важные, мистические, отвлеченные и страстные разговоры его главных героев о последних судьбах русской и всемирной истории. И как ни странно, а чувствуется, что именно пошлость этой «европейской», лакейской, «смердяковской» обстановки, реальность и пошлость, «граничащая почти с фантастическим», придают этим беседам их особенный, современный, русский, может быть, единственно русский, грозовой и зловещий — как небо перед ударом грома, полное землистой, точно трупной, бледности — апокалипсический отблеск; чувствуется, что здесь впервые наша русская мысль выступает на арену подлинно европейской, вселенской культуры, что, несмотря на «силпый органчик, крики из бильярдной и безголосого соловья», здесь внимают ей «силы, начальства и власти», «человеки и ангелы», так что, кажется, если бы подобные разговоры происходили в менее пошлой, более внешне поэтической, величественной обстановке, они утратили бы часть своего внутреннего величия, своей особенной, единственно русской, потому-то, может быть, и всемирной поэзии.

По Д. Мережковскому

Каждая эпоха в истории русского общества знает свой образ Петербурга. Каждая отдельная личность, творчески переживающая его, преломляет этот образ по-своему.

Свой образ Петербурга, глубокий и значительный, существует и у Достоевского. Раскрытие его чрезвычайно существенно для понимания последнего. Но этот образ не является продуктом его свободного творчества. Он рожден, а не сотворен. Все впечатления петербургской жизни, порожденные пейзажем города, его белыми ночами и туманными утрами, его водами и редкими садами, великой суетой сует северной столицы, — все эти впечатления наслаивались одно на другое, перерабатывались в горниле бессознательного и нашли свое воплощение в рожденном гением образе.

Значительная часть жизни Достоевского протекла в северной столице. Различные уголки города были свидетелями ее внешних и внутренних событий.

Из богатого литературного наследия (около 30 романов, повестей и рассказов) можно выделить до 20 произведений, в которых Петербург выступает как фон для развития сюжета. Это «Бедные люди», «Двойник», «Господин Прохарчин», «Роман в девяти письмах», «Хозяйка», «Слабое сердце», «Чужая жена и муж под кроватью», «Елка и свадьба», «Неточка Незванова», «Скверный анекдот», «Записки из подполья», «Крокодил», «Униженные и оскорбленные», «Вечный муж», «Идиот», Преступление и наказание», «Подросток», «Бобок», «Кроткая». Некоторую роль играет Петербург и в романе «Бесы».

Нельзя отметить периода преобладания Петербурга в творчестве Достоевского. Через всю его творческую жизнь неизменно проходит мотив северной столицы. Даже в далекой Флоренции, где создает он своего «Идиота», образы Петербурга переданы с удивительной конкретностью.

Во всех произведениях город не только обозначен как место совершающегося действия. Обычно Достоевский дает точные топографические указания. Он любил отмечать отдельные места разнообразного в своих частях и цельного в своем единстве города.

Названия его рек, каналов, его площадей, улиц, церквей, его островов и окрестностей пестрят на страницах писаний Достоевского. Эти мимолетные указания чрезвычайно ценны: они вызывают за собой конкретные образы города, ряд богатых и разнообразных воспоминаний.

Для выяснения образа Петербурга Достоевского следует с особой тщательностью сопоставить все мысли, чувства, желания, рожденные городом в душе великого романиста, чтобы постигнуть все разнообразие отражения его души.

В беглых заметках о городе Достоевский пытается дать характеристику архитектуры Петербурга, подчеркивая бесхарактерность его внешнего облика:

«Вообще архитектура всего Петербурга чрезвычайно характеристична и оригинальна и всегда поражала меня именно тем, что выражает всю его бесхарактерность и безличность за все время существования. Характерного в положительном смысле, своего собственного, в нем вот разве эти деревянные гнилые домики, еще уцелевшие даже на самых блестящих улицах, рядом с громаднейшими домами, и вдруг поражающие ваш взгляд, словно куча дров возле мраморного палатца. Что же касается до палатца, то в них-то отражается вся бесхарактерность идеи, вся отрицательность сущности петербургского периода, с самого начала до самого конца» (*«Дневник писателя», «Маленькие картинки»*).

Ничего своего, все вывезено на кораблях, что со всех концов устремлялись к богатым пристаням.

«В архитектурном смысле он — отражение всех архитектур в мире, всех периодов и мод, все постепенно заимствовано и все по-своему перековеркано».

Все, что было создано в Петербурге в период его развития, оказывается жалкой копией римского стиля, псевдовеличественно, скучно до невероятности, натянуто и придумано!

Вступая в Петербург Достоевского, мы проникаем в чрезвычайно своеобразный, сложный и духовно богатый мир.

Дома для него приобретают особое значение, как обиталище его героев. Дом обрисовывается как обособленный мирок, живущий своей таинственной жизнью, влияющей так или иначе на судьбу своего обитателя. Читая Достоевского, мы не раз отмечаем это пристальное отношение к дому. Вспомним ряд домов, описанных автором.

Вот маленький домик старого Петербурга:

«Он бодро вошел в отпертую калитку и с презрением оттолкнул ногой маленькую, лохматую и осипшую шавку, которая более для приличия, чем для дела, бросилась к нему с хриплым лаем под ноги. По деревянной настилке дошел он до крытого крылечка, будочкой выходявшего на двор, и по трем ветхим деревянным ступенькам поднялся в крошечные сени. Тут хоть и горел где-то в углу сальный огарок или что-то вроде плоски, но это не помешало Ивану Ильичу так, как есть, в калошах, попасть левой ногой в галантир, выставленный для остужения» (*«Скверный анекдот»*).

Описание небольшого, но уже каменного дома, чрезвычайно характерное, мы находим в «Униженных и оскорбленных». Это дом, где жила мать Нелли.

«Дом был небольшой, но каменный, старый, двухэтажный, окрашенный грязно-желтой краской. В одном из окон нижнего этажа, которых всего было три, торчал маленький красный гробик, — вывеска незначительного гробовщика. Окна верхнего этажа были чрезвычайно малые и совершенно квадратные, с тусклыми, зелеными и надтреснувшими стеклами, сквозь которые просвечивали розовые коленкорные занавески».

Этот дом обрисован так, что его окна смотрят на нас зрячим взором одухотворенного лица.

Наряду с этими угрюмыми образами вспомним маленький дом, где в семье Ихменевых умерла Нелли. При доме был жалкий садик, которым так дорожат петербуржцы.

«Этот садик принадлежит к дому, он шагов в двадцать пять длиною и столько же в ширину, и весь зарос зеленью. В нем три высоких старых, раскидистых дерева, несколько молодых березок, несколько кустов сирени, жимолости, есть уголок малинника, две грядки с клубникой и две узеньких извилистых дорожки, вдоль и поперек садика. Старик от него в восторге и уверяет, что в нем скоро будут расти грибы».

Все это последние могикане старого Петербурга!

Еще более характерны для улиц Достоевского те «капитальные» высокие, холодные дома, с глухими стенами, которые в короткий срок совершенно исказили образ северной столицы.

«Старик и молодая женщина вошли в большую, широкую, улицу, грязную, полную разного промышленного люда, мучных лабазов и постоялых дворов, которая вела прямо к заставе, и повернули из нее в узкий, длинный переулочек, с длинными заборами по обеим сторонам его, упирившийся в огромную, почерневшую стену четырехэтажного капитального дома, сквозными воротами которого можно было пройти на другую, тоже большую и людную улицу».

«Он подошел к дому со стороны переулочка и вошел на узенький грязный и нечистый задний дворик, нечто вроде помойной ямы в доме».

«Он шел по гнилым, трясушим доскам, лежавшим в луже, к единственному входу на этот двор из флигеля дома, черному, нечистому, грязному, казалось, захлебнувшемуся в луже. В нижнем этаже жил бедный гробовщик. Миновав его остроумную мастерскую, Ордынцев по полуразломанной скользкой винтовой лестнице поднялся в верхний этаж, ощупал в темноте толстую, неуклюжую дверь, покрытую рогожными лохмотьями, нашел замок и приоткрыл ее».

Здесь произойдут странные события вокруг «хозяйки».

В этом описании Достоевский подчеркивает грязь и нищету мрачного и тяжелого быта. Все эпитеты настойчиво указывают на одни и те же черты. И снова мастерская гробовщика как напоминание о неизбежном завершении этой безотрадной жизни. Весь пейзаж выдержан в грязно-черных тонах. Все предметы грузные, убогие. Но этот натюр-морт становится «живой природой» под кистью Достоевского, как и всякого подлинного художника.

Особенно выразительны эти лестницы, то винтообразные, то прямые, крутые, обычно темные, иногда освещенные какой-нибудь коптилкой. Шаги на них раздаются, словно слышится чья-то невнятная речь, и в тревоге прислушиваешься к ней. Так прислушивался и рассказчик в «Униженных и оскорбленных» к шагам князя Валковского. Так же слушал чью-то неведомую поступь с замирающим сердцем Раскольников в огромном «холодном» доме своей жертвы.

Вспомним еще эпизод из «Идиота».

«Лестница, на которую князь взбежал из-под ворот, вела в коридоры первого и второго этажей, по которым и были расположены номера гостиницы. Эта лестница, как во всех давно странных домах, была каменная, темная, узкая и вилась около толстого каменного столба. На первой забежной площадке в этом столбе оказалось углубление, вроде ниши, не более одного шага ширины и в полшага глубины. Человек, однако же, мог бы тут поместиться. Как ни было темно, но, вбежав на площадку, князь тотчас же различил, что тут, в этой нише прячется зачем-то человек. Князю вдруг захотелось пройти мимо и не глядеть направо. Он ступил уже один шаг, но не выдержал и обернулся.

Два давешние глаза, *те же самые*, вдруг встретились с его взглядом».

Тут притаился названный брат идиота Парфен Рогожин с ножом.

«Необычайный *внутренний* свет озарил... душу» князя... С ним случился припадок эпилепсии».

Так использована винтовая лестница вокруг толстого столба с нишей для потрясающей сцены, и лестница приобретает от нее свое особое выражение.

Вполне отчетливо Достоевский высказал свои мысли о физиономии дома при описании жилища Рогожина. Писатель заставляет заранее узнать его.

«Подходя к перекрестку Гороховой и Садовой, он сам удивился своему необыкновенному волнению... Один дом, вероятно, по своей особенной физиономии, еще издали стал привлекать его внимание, и князь помнил потом, что сказал себе: “Это, наверно, тот самый дом”. С необыкновенным любопытством подходил он проверить свою догадку...»

Это замечание чрезвычайно интересно. Как будто и мы приглашены поискать дом Парфена Семеныча, угадать его физиономию. Словно и мы должны иметь самое точное представление о домах, в которых живут эти люди, как будто дом участвует в образовании души, словно при нашем случайном выборе квартиры существует закономерный подбор, словно наши жилища находятся с нами в такой же органической связи, как моллюски со своими раковинами.

Дом Рогожина «был большой, мрачный, в три этажа, без всякой архитектуры, цвета грязно-зеленого. Некоторые, очень, впрочем, немногие дома в этом роде, выстроенные в конце прошлого столетия, уцелели именно в этих улицах Петербурга (в котором все так скоро меняется) почти без перемены. Строены они прочно, с толстыми стенами и с чрезвычайно редкими окнами; в нижнем этаже окна иногда с решетками. Большею частью внизу меняльная лавка. Скопец, заседающий в лавке, нанимает вверху. И снаружи и внутри как-то негостеприимно и сухо, все как будто скрывается и таится, а почему так кажется по одной физиономии дома — было бы трудно объяснить. Архитектурные очертания линий имеют, конечно, свою тайну».

Дома Достоевского «не слепок, не бездушный лик». За их архитектурными очертаниями он видит своеобразную душу, полную таинственной жизни.

Это отношение к дому, как к одухотворенному организму, породило в Достоевском совершенно особую возможность войти в личное общение с ним, заключить нечто вроде дружбы.

Человек и дом как равноправные члены духовного союза!

В «Белых ночах» один старенький домик обрисован, как «нечеловеческое существо».

«Но никогда не забуду истории с одним прехорошеньким светло-розовым домиком. Это был такой миленький каменный домик, так приветливо смотрел на меня, так горделиво смотрел на своих неуклюжих соседей, что мое сердце радовалось, когда мне случалось проходить мимо. Вдруг, на прошлой неделе, я прохожу по улице и как посмотрел на приятеля — слышу жалобный крик: “а меня красят в желтую краску!” Злодеи, варвары! Они не пощадили ничего: ни колонн, ни карнизов, и мой приятель пожелтел, как канарейка».

Следует еще задержаться на интересной особенности домов Достоевского — на их окнах. При описании дома матери Нелли уже были отмечены его выразительные окна. Так же характерно подчеркнута расстановка окон дома Рогожина. Этот же мотив развит в «Неточке Незвановой». Из окон одного дома — в окна другого.

«...Окна выходили на улицу, или, лучше сказать, на кровлю противоположного дома, и были низенькие, широкие, словно щели. Подоконники приходились так высоко от полу, что я помню, как мне нужно было подставлять стул, скамейку и потом уже кое-как добираться до окна, на котором я любила сидеть, когда никого не было дома. Из нашей квартиры было видно полгорода; мы жили под самой кровлей, в шестиэтажном, огромнейшем доме».

Сквозь эти гляделки, похожие на щели капитального дома, взирает на мир мечтательная девочка. Противоположный дом смотрел на нее окнами с красными занавесками.

«Уже давно этот дом поразил мое детское любопытство. Особенно я любила смотреть на него ввечеру, когда на улице зажигались огни и когда начинали блестеть, каким-то кровавым, особенным блеском красные, как пурпур, гардины за цельными стеклами ярко освещенного дома. К крыльцу почти всегда подъезжали богатые экипажи на прекрасных гордых лошадях, и все завлекло мое любопытство: и крик, и суматоха у подъезда, и разноцветные фонари карет, и разряженные женщины, которые приезжали в них. Все это в моем детском воображении принимало вид чего-то царственно-пышного и сказочно-волшебного».

В этот пейзаж Петербурга введен мотив красных занавесок, пурпурный отблеск которых окрасил все впечатления города и придал им сказочно-манящий облик.

Город, скрывающий в своих недрах эти дома, насыщенные какой-то сокровенной жизнью, и сам живет как сверхчеловеческое существо.

Достоевский дает образы отдельных урочищ города.

«И он быстрым, невольным жестом руки указал мне на туманную перспективу улицы, освещенную слабо мерцающими в сырой мгле фонарями, на грязные дома, на сверкающие от сырости плиты тротуаров, на угрюмых, сердитых и промокших прохожих, на всю эту картину, которую обхватывал черный, как будто залитый тушью, купол петербургского неба. Мы выходили уж на площадь; перед нами во мраке вставал памятник, освещенный снизу газовыми рожками, и еще далее подымалась темная, огромная масса Исакия, неясно отдалявшаяся от мрачного колорита неба».

Здесь чрезвычайно искусно Достоевский использовал возможности постепенного раскрытия пейзажа. Вся красочная гамма сведена к переливам света и тени. Тусклый свет фонарей отражен сверкающими плитами тротуаров и мокрыми одеждами прохожих – залитое тушью небо льет свой мрак на окутанные туманом грязные дома. Постепенно перспектива расширяется и из тьмы поднимается мрачная масса Исакия. Картина достигает изумительного единства композиции.

В «Преступлении и наказании» Достоевский разворачивает пейзаж города в целую панораму Невы.

«Небо было без малейшего облачка, а вода почти голубая, что на Неве так редко бывает. Купол собора, который ни с одной точки не обрисовывается лучше, как смотря на него отсюда с моста, не доходя шагов двадцати до часовни, так и сиял, и сквозь чистый воздух можно было отчетливо рассмотреть даже каждое его украшение».

Достоевскому была введена особая красота Петербурга. Она раскрывается на один миг, она ощущается как видение, как быстро проходящий сон. Ей бывает обязана северная столица преображающей силе природы:

«Я люблю мартовские солнца в Петербурге, особенно закат, разумеется в ясный, морозный вечер. Вся улица вдруг блеснет, облитая ярким светом. Все дома как будто вдруг засверкают. Серые, желтые и грязно-зеленые цвета их потеряют на миг всю угрюмость; как будто на душе просияет...»

Чутко воспринял он хрупкую и тонкую душу весеннего Петербурга и согрел обрисованный образ горячей симпатией:

«Есть что-то неизъяснимо-трогательное в нашей петербургской природе, когда она, с наступлением весны, вдруг выкажет всю мощь свою, все дарованные ей небом силы, опустится, разрядится, упестрится цветами... Как-то невольно напоминает она мне ту девушку, чахлую и хворую, на которую вы смотрите иногда с сожалением, иногда с какою-то сострадательной любовью, иногда же просто не замечаете ее, но которая вдруг на один миг, как-то нечаянно, делается неизъяснимо, чудно прекрасною, а вы, пораженный, упоенный, невольно спрашиваете себя: какая сила заставила блистать таким огнем эти грустные задумчивые глаза? что вызвало кровь на эти бледные похудевшие щеки? что облило страстью эти нежные черты лица? отчего так вздымается эта грудь? что так внезапно вызвало силу, жизнь и красоту на лицо бедной девушки, заставило его заблистать такой улыбкой, оживиться таким сверкающим искрометным смехом?»

Вы смотрите кругом, все кого-то ищите, вы догадываетесь... Но миг проходит, и, может быть, на завтра же вы встретите опять тот же задумчивый и рассеянный взгляд, как и прежде, то же бледное лицо, ту же покорность и робость в движениях и даже раскаяние, даже следы какой-то мертвящей тоски и досады на минутное увлечение... И жаль вам, что так скоро, так безвозвратно завяла мгновенная красота, что так обманчиво и напрасно блеснула она перед вами — жаль оттого, что даже полюбить ее вам не было времени».

В белую ночь душу Достоевского мгновенно озарил скорбный облик Петербурга, но он не смог определить отношение навсегда, часто нам приходится слышать жестокие речи о трагическом городе.

Лучезарный на мгновение, привычно мрачный Петербург — самый угрюмый город в мире.

Достоевский опалил свою душу о «холодный город». Его чувство Петербурга многогранно и с трудом поддается анализу. Эта многогранность чувств, эта способность остро-индивидуального восприятия Достоевским как отдельных домов, так и особых урочищ привязывала автора к определенным уголкам Петербурга, окрашивая их лирическим чувством.

«...Есть у меня в Петербурге и несколько мест счастливых, то есть таких, где я почему-нибудь бывал когда-нибудь счастлив, — и что же, я берегу эти места и не захожу в них как можно дольше нарочно, чтобы потом, когда буду уж совсем один и несчастлив, зайти, погрузиться и припомнить» («Подросток»).

Жизнь города находится в органической связи с жизнью природы. Его бытие есть цветение, и живет оно соками, получаемыми из своей почвы. Его судьба определяется общим ходом исторических событий. Петербург вырос из вековых болот, вдали от истоков национального бытия, при страшном, надрывном напряжении народных сил. Достоевский называет его «самым умышленным городом в мире». Под площадями, улицами и домами Петербурга ему чудится первоначальный хаос.

Водная стихия, скованная героическими и титаническими усилиями строителей этого города, не уничтожена, она лишь притаилась и ждет своего часа. Достоевскому, конечно, были знакомы многочисленные описания гибели северной столицы под разъяренными волнами. Миф о Медном Всаднике живет в душе автора «Преступления и наказания». Но Достоевский не верит в торжество города и сомневается в его правде.

Водная стихия Петербурга приковывает внимание Достоевского. Нева, ее рукава и каналы играют большую роль в его произведениях. Мы часто застаем его героев, пристально всматривающимися в чернеющие воды.

Мокрота является как бы первоосновой Петербурга, его «субстанцией». В ненастную ночь, когда воеет ветер и хлещет дождь или падает снег, непременно мокрый, с особой силой воспринимал Достоевский душу Петербурга. Еще Пушкин отметил этот петербургский мотив ненастной ночи:

«Погода была ужасная: ветер выл, мокрый снег падал хлопьями; фонари светили тускло; улицы были пусты. Изредка тянулся Ванька на тощей кляче своей, высматривая запоздалого седока. — Германн стоял в одном сертуке, не чувствуя ни дождя, ни снега».

Достоевский сам устанавливает эту связь.

«В такое петербургское утро, гнилое, сырое и туманное, дикая мечта какого-нибудь пушкинского Германна из «Пиковой дамы», ... мне кажется, должна еще более укрепиться» («Подросток»).

Мокрый снег — обычная черта ландшафта повестей Достоевского.

«В невыразимой тоске я подходил к окну, отворял форточку и вглядывался в мутную мглу густо падающего мокрого снега».

Этот постоянно мокрый снег есть внешнее выражение переживаний персонажей Достоевского, поэтому он приобретает такую власть над ними, толкает их на безумные поступки.

«Мокрый снег валил хлопьями; я раскрылся: мне было не до него. Я забыл все прочее, потому что окончательно решился на пощечину и с ужасом ощущал, что это уж *непреренно сейчас*, теперь случится и *уж никакими силами остановить нельзя*. Пустынные фонари угрюмо мелькали в снежной мгле, как факелы на похоронах. Снег набился мне под шинель, под сюртук, под галстук и там таял; я не закрывался: ведь и без того все было потеряно!» («*Записки из подполья*»).

Мокрый снег вновь и вновь проступает в глубине пейзажа, на котором разворачивается жуткое действие. Это постоянный аккомпанемент к основной мелодии действия.

В этом падающем снеге Достоевский чувствовал выражение какой-то таинственной силы. Прозаические картины города одухотворяются им какой-то особой поэзией.

Не доходя до Сенной, встретил Раскольников черноволосого шарманщика с девушкой в криолине, в мантилье, перчатках и в соломенной шляпке с огненным пером; все это было старое и истасканное; она выпевала романс дребезжащим, но приятным голосом. Раскольников любил «как поют под шарманку в холодный, темный и сырой осенний вечер, непременно в сырой, когда у всех прохожих бледно-зеленые и больные лица; или, еще лучше, когда снег мокрый падает, совсем прямо, без ветру, знаете? а сквозь него фонари с газом блистают».

В этом соприкосновении с мокрым снегом происходит какое-то и общение с за- таившейся водной стихией. Она заставляет останавливаться проходящих через многочисленные петербургские мосты и всматриваться упорно в мутные воды, она приковывает внимание к мокрому снегу, дождю и туману, как к какой-то манящей силе, но силе темной. В ненастную петербургскую ночь обнажается бездна со всеми страхами и мглами. В такую ночь Свидригайлов совершил свое преступление, такая ночь является для него и последней: в наступившее после нее туманное утро он застрелился. В такую ночь чиновник с испуганной душой, Голядкин, после целого ряда безумств повстречал на Фонтанке своего двойника.

«На всех петербургских башнях, показывающих и бьющих часы, пробило ровно полночь... Ночь была ужасная... мокрая, туманная... Ветер выл в опустелых улицах, вздымая выше колец черную воду Фонтанки и задорно потрогивая тощие фонари набережной, которые в свою очередь вторили его завываниям... Господин Голядкин отряхнулся немного, стряхнул с себя снежные хлопья, навалившиеся густою корою ему на шляпу, на воротник, на шинель, на галстук, на сапоги и на все, — но страшного чувства, страшной темной тоски своей все еще не мог оттолкнуть от себя, сбросить с себя. Где-то далеко раздался пушечный выстрел. “Эка погодка”, — подумал герой наш, — “чу! не будет ли наводнения? Видно, вода поднялась слишком сильно”. Только что сказал или подумал это господин Голядкин, как увидел впереди себя идущего ему навстречу прохожего...» Он преследует незнакомца. Оказывается, «ночной приятель его был не кто иной, как он сам, господин Голядкин, другой господин Голядкин, но совершенно такой же, как и он сам, — одним словом, что называется двойник его во всех отношениях».

На фоне ненастной ночи совершается раскрытие ночной стороны души города, приводящей к безумию, к преступлению, к самоубийству. Углубленный реализм обнаруживает подполье души человека, подполье города.

Образ Петербурга был бы неполным, если бы Достоевский не ввел мотива мертвеца, развив его в целую кошмарную симфонию. Один из безымянных героев в рассказе «Бобок» «ходил развлекаться и попал на похороны». Там на кладбище «заглянул в могилы; ужасно! Вода, совершенно вода, и какая зеленая и... ну да уж что! Поминутно могильщик выкачивал черепком...» Здесь притаилась вражья сила, *memento mori* Петербурга. Долго оставался он на кладбище; прилег на длинный камень в виде мраморного гроба и услышал глухие звуки, как будто рты закрыты подушками. Это переговаривались

мертвецы, лежавшие в соленой воде. Душевное гниение их еще более смрадно, чем гниение плотское. Сыны и дочери Петербурга продолжают свою суету суетствий и в загробном существовании, с той только разницей, что здесь они могут отбросить всякий стыд. «Да поскорее же! Поскорей! Ах, когда же мы начнем ничего не стыдиться».

Таково подполье города.

Эти дремлющие в недрах города силы хаоса сообщают жизни Петербурга, столь суетной и пошлой, исключительную напряженность. И этот город «полный пошлости таинственной» оказывается городом фантастики, превращается в призрак, в видение.

В романе «Подросток» отмечено особое восприятие города, когда он перестает быть самим собой, и оборачивается неведомым ликом. Пейзаж Петербурга превращается в какой-то лунный ландшафт.

«И странно: мне все казалось, что все кругом, даже воздух, которым я дышу, был как будто с другой планеты, точно я вдруг очутился на Луне.

Все это — город, прохожие, тротуар, по которому я бежал, — все это было не мое. Вот это — Дворцовая площадь, вот это — Исаакий», — мерещилось мне... все это стало вдруг не мое».

В одном из ранних произведений Достоевским затронут мотив раздвоения жизни, как бывает раздвоение личности, и в этой «другой» жизни Петербург является в преобразенном виде. Его солнце вдруг станет каким то потусторонним и в его лучах город приобретет сказочный облик.

«Есть в Петербурге довольно странные уголки. В эти места как будто не заглядывает то же солнце, которое светит для всех петербургских людей, а выглядывает какое-то другое, новое, как будто нарочно заказанное для этих углов, и светит на все иным, особенным светом. В этих углах... выживается как будто совсем другая жизнь, непохожая на ту, которая возле нас кипит, а такая, которая может быть в тридесятном неведомом царстве, а не у нас, в наше серьезное-пресерьезное время. Вот эта-то жизнь и есть смесь чего-то чисто-фантастического, горячо-идеального и вместе с тем... тускло-прозаичного и обыкновенного, чтоб не сказать: до невероятности пошлого».

Пристально всматривается Достоевский в облик города; его скучный, больной и холодный вид не пугает, а влечет духовидца, и за этой отталкивающей оболочкой он начинает прозревать «миры иные».

В одном из своих видений Достоевский создает из привычных «позитивных» элементов призрачно-сказочный пейзаж.

«Были уже полные сумерки, когда Аркадий возвращался домой. Подойдя к Неве, он остановился на минуту и бросил пронзительный взгляд вдоль реки в дымную морозную мутную даль, вдруг заалевшую последним пурпуром кровавой зари, догоравшей в мгльном небосклоне. Ночь ложилась над городом, и вся необъятная, вспухшая от замерзшего снега поляна Невы с последним отблеском солнца осыпалась бесконечными мириадами искр иглистого инея. Становился мороз в двадцать градусов. Мерзлый пар валил с загнанных насмерть лошадей, с бегущих людей. Сжатый воздух дрожал от малейшего звука и, словно великаны, со всех кровель обеих набережных подымались и неслись вверх по холодному небу столпы дыма, сплетаясь и расплетаясь в дороге, так что, казалось, новые здания вставали над старыми, новый город складывался в воздухе... Казалось, наконец, что весь этот мир, со всеми жильцами его, сильными и слабыми, со всеми жилищами их, приютами нищих и раззолоченными палатами — отрадой сильных мира сего, в этот сумеречный час походит на фантастическую, волшебную грезу, на сон, который, в свою очередь, тотчас исчезнет и исcurится паром к темно-синему небу. Какая-то странная дума посетила осиротелого товарища бедного Васи» (*«Слабое сердце»*).

Перед нами опять панорама Невы. Но на этот раз не проникнута она духом немым и глухим. В час торжественный и печальный, в час заката, клубясь, возносятся к небу столпы дыма.

Весь пейзаж соткан из алых тонов вечерней зари и мутных, дымчатых тонов волнующейся пелены города, а сквозь нее сверкают искры мглистого инея.

И над всем этим холодное темно-синее небо.

В утренний час, когда лучи солнца борются с тающим туманом, Петербург отливает тонами перламутра и кажется зачарованным городом.

Но Достоевский в этой картине увидел возникающий новый город и реальный Петербург превращается в какой-то мираж.

«Мне сто раз среди этого тумана задавалась странная, но навязчивая греза: “А что как разлетится туман и уйдет кверху, не уйдет ли с ним вместе этот гнилой склизкий город? Поднимется вместе с туманом и исчезнет, как дым, и останется прежнее финское болото, а посреди его, пожалуй, для красы — бронзовый всадник на жарко дышащем загнанном коне?”»

Что же это — видение или же просто сон?

«Вот они все кидаются и мечутся, а почему знать, может быть, все это чей-нибудь сон, и ни одного-то человека здесь нет настоящего, истинного, ни одного поступка действительного. Кто-нибудь вдруг проснется, кому это все грезится, — и все вдруг исчезнет».

Ясен после этого вывод Достоевского. Петербургское утро, казалось бы, самое прозаическое на всем земном шаре, является чуть ли не «самым фантастическим в мире».

При разработке темы «Петербург в творчестве Достоевского» наталкиваешься на признание самого писателя о власти города как органического целого над его обитателями. Красноречивый Евгений Иванович рассудительно объясняет князю Мышкину причину происшедших событий и, между прочим, говорит: «Прибавьте нашу петербургскую, потрясающую нервы, оттепель; прибавьте весь этот день в незнакомом и почти фантастическом для вас городе». Вельчанинов особенно страдал в Петербурге от белых ночей, которые действуют на душу подобно свету луны, вызывая неопределенное беспокойство и сильное напряжение всего существа.

Ранее уже отмечалась страшная власть водной стихии, как первоосновы Петербурга, над душой. Вспомним ненастные ночи, мокрый снег, когда темные и безумные силы овладевали душой, когда фантастическая мечта становилась господствующей силой.

Сухие, душные, знойные летние дни вызывали ту же лихорадочную работу ума, порождали свои мечты и свои преступления. Интересную в этом смысле характеристику города дает Свидригайлов.

Петербург — «это город полусумасшедших. Если бы у нас были науки, то медики, юристы и философы могли бы сделать над Петербургом драгоценнейшие исследования, каждый по своей специальности. Редко где найдется столько мрачных, резких и странных влияний на душу человека, как в Петербурге. Чего стоят одни климатические влияния! Между тем это административный центр всей России, и характер его должен отражаться на всем» (*«Преступление и наказание»*).

Все эти мрачные, резкие и странные влияния были хорошо осознаны Достоевским, весь душевный склад которого и судьба должны были сделать его особенно восприимчивым к «чувству Петербурга».

Петербург — участник творчества Достоевского. Город является вдохновителем писателя, его музой, нашептывавшей страшные сказанья.

Подросток ярко охарактеризовал улицу Петербурга с психологической стороны.

«Совсем уже стемнело и погода переменилась; было сухо, но подымался скверный петербургский ветер, язвительный и острый, мне в спину, и взвивал кругом пыль и песок. Сколько угрюмых лиц простонародья, торопливо возвращавшегося в углы свои с работы и промыслов! У всякого своя угрюмая забота на лице и ни одной то, может быть, общей, всеобъединяющей мысли в этой толпе! Крафт прав: все врознь».

Город на болоте. Жизнь на болоте, в тумане, без корней, глубоко вошедших в животворящую мать сырую землю. Нет корней, и душа расплывается. Все врознь, какие-то блуждающие болотные огни, ненавидят ли, любят ли — всегда мучают друг друга,

неспособные слиться в одно органическое целое. Все в себе, в нерасторжимых пределах своих глубоких и значительных душ, томящихся во мраке и холоде. Какая-то хмара.

«Несчастье обитать в Петербурге, самом отвлеченном и умышленном городе в мире».

Мы постоянно встречаем героев Достоевского, бродящими без цели по улицам, площадям, мостам северной столицы. Какая-то неудержимая сила влечет их к этому общению с городом. Уже в «Бедных людях» мы встречались с такого рода «бесцельными» прогулками. Герой «Белых ночей» так же любил блуждать по городу; вспомним его дружбу с маленьким домом с колоннами, вспомним свидание на берегу канала с незнакомкой. И «подросток» исходил Петербург из конца в конец. Автор «Записок из подполья» и родственник ему господин Голядкин любили бродить по психологическим соображениям по городу. Даже князю Мышкину была ведома эта страсть.

«Он останавливался иногда на перекрестках улиц, пред иными домами, на площадях, на мостах; однажды зашел отдохнуть в одну кондитерскую. Иногда с большим любопытством начинал всматриваться в прохожих; но чаще всего не замечал ни прохожих, ни где он идет. Он был в мучительном напряжении и беспокойстве, и в то же самое время чувствовал необыкновенную потребность уединения».

Эти блуждания — род недуга; наблюдается явное противоречие между тягой в людные места и потребностью в уединении.

Ордын «ходил по улицам, как отчужденный, как отшельник, внезапно вышедший из своей немой пустыни в шумный и гремящий город. Все ему казалось ново и странно. Но он до того был чужд тому миру, который кипел и грохотал кругом него, что даже не подумал удивиться своему странному ощущению... Все более и более нравилось ему бродить по улицам. Он глазел на все как фланер... Он читал в ярко раскрывшейся перед ним картине, как в книге между строк. Все поражало его; он не терял ни одного впечатления и мыслящим взглядом смотрел на лица ходящих людей, всматривался в физиономию всего окружающего, любовно вслушивался в речь народную... часто какая-нибудь мелочь поражала его, рождала идею.

...В глазах его был огонь; он чувствовал лихорадку и жар попеременно... вся эта пошлая проза и скука возбудила в нем, напротив, какое-то тихо-радостное, светлое ощущение».

В этих замечательных отрывках Достоевский поведал, как он сам умел всматриваться в Петербург, схватывать выражение его лица, и, созерцая его «мыслящим взглядом», прозревать за внешней оболочкой присутствие иного бытия.

Всех этих скитальцев Петербурга, блуждающих по улицам подобно фланерам, как бы различны они ни были, объединяет одна черта. Они находятся во время подобных «бесцельных» прогулок в возбужденном, часто лихорадочном состоянии. Их вид привлекает внимание. Они производят впечатление чудаков или пьяных, а то и просто сумасшедших.

И еще одна черта объединяет их: все они бродят не бесцельно.

Что же толкает их на улицы Петербурга? Этим одиноких людей, бедных людей, униженных и оскорбленных, слабых сердец, идиотов — манит чуждая для них жизнь. Эта таинственная суэта Петербурга, в которой пульсирует какое-то подлинное бытие, сулит выход из одиночества. И вместе с тем для них эта неведомая, но, казалось бы, столь близкая жизнь остается чуждой, для их душ — запредельной, только манящей, но никогда не отдающейся. В этой жизни города они искали забвение своего «я», своей обособленности; но не внутри возникающим подвигом, напряжением воли, стремящейся ко благу, старались они преодолеть обособленность своего я, а лишь извне идущими раздражениями окружающей их жизни. На улицах они находили легчайший способ соприкосновения с внешней жизнью, которое могло им дать порой мгновенное рассеяние и даже забвение, но не исцеление.

При описании этих блужданий Достоевский обыкновенно отмечает маршруты своих скитальцев. Так, например, можно проследить путь господина Голядкина, или же

князя Мышкина перед припадком. Но особенно полно освещены и сложный маршрут, и психологический смысл его на примере «Преступления и наказания».

Раскольников мы редко застаем дома, в его камерке.

«Это была крошечная клетушка, шагов в шесть длиной, имевшая самый жалкий вид со своими желтенькими, пыльными и всюду отставшими обоями, и до того низкая, что чуть-чуть высокому человеку становилось в ней жутко, и всё казалось, что вот-вот стукнешься головой о потолок».

Раскольников предпочитал бродить по городу без «деловой» цели, «чтоб еще тошнее было». Среди простора Петербурга, на его бесконечных проспектах, ровных и прямых, как стрелка, улицах, слагается эта ничем не задерживаемая роковая мысль о праве на жизнь другого, логически совершенная, которая подчиняет себе, насилуя душу. Она гонит голодного студента все вперед, все дальше, и он, не владея собой, шагает по улицам самого фантастического города. Раскольникова легко приметить.

«Вы выходите из дома — еще держите голову прямо. С двадцати шагов вы уже ее опускаете, руки складываете назад. Вы смотрите и, очевидно, ни пред собой, ни по бокам уже ничего не видите. Наконец начинаете шевелить губами и разговаривать сами с собой, причем иногда вы освобождаете руку и декламируете, наконец останавливаетесь среди дороги надолго».

Достоевский дает нам подробное описание целого ряда маршрутов блужданий своего героя. Проследим один из этих маршрутов.

«Наконец ему стало душно и тесно в этой желтой камерке, похожей на шкаф или на сундук. Взор и мысль просили простору. Он схватил шляпу и вышел... Путь же взял он по направлению к Васильевскому острову через В-й проспект...»

Жил он, как известно, в Столярном переулке у Кокушкина моста. Следовательно, он шел через Вознесенский проспект. Мысль все гонит Раскольникова вперед, все дальше и дальше к Невским просторам, к зелени островов. Она еще не царилась в его сознании, а лишь подстерегала душу:

«Он ведь знал, он *предчувствовал*, что она непременно “проснется”, и уже ждал ее... месяц назад, и даже вчера еще, она была только мечтой, а теперь... теперь являлась вдруг не мечтой, а в каком-то новом, грозном и совсем незнакомом ему виде, и он вдруг сам сознал это... Ему стукнуло в голову, и потемнело в глазах. Он поспешно огляделся, он искал чего-то. Ему хотелось сесть, и он искал скамейку; проходил же он тогда по К-му бульвару».

Новое указание маршрута: Раскольников остановился на Конногвардейском бульваре.

«Этот бульвар и всегда стоит пустынный, теперь же, во втором часу и в такой зной, никого почти не было. И однако ж в стороне, шагах в пятнадцати», Раскольников наблюдает жуткую сцену. После неудачного вмешательства, он продолжает путь.

«Да пусть их переглодают друг друга живьем — мне-то чего!»

Он было повернул к своему товарищу Разумихину, но передумал. Таким образом, он прошел весь Васильевский остров, вышел на Малую Неву, перешел мост и поворотил на Острова.

Далее идет описание Островов.

«Иногда он останавливался перед какою-нибудь изукрашенной в зелени дачей, смотрел в ограду, видел вдаль, на балконах и на террасах, разряженных женщин и бегающих в саду детей. Особенно занимали его цветы; он на них всего дольше смотрел. Встречались ему тоже пышные коляски, наездники и наездницы; он провожал их с любопытством глазами и забывал о них прежде, чем они скрывались из глаз».

Раскольников искал здесь выхода из того города, в котором зародилась роковая мысль.

«Зелень и свежесть понравились сначала его усталым глазам, привыкшим к городской пыли, к известке и к громадным, теснящим и давящим домам. Тут не было ни духоты, ни вони, ни распивочных».

Вот в нескольких штрихах Петербург Раскольников.

«Он пошел домой; но дойдя уже до Петровского острова, остановился в полном изнеможении, сошел с дороги, вошел в кусты, пал на траву и в ту же минуту заснул».

Страшный сон приснился Раскольникову — сон об истязании лошади. Произошла какая-то подпольная работа души.

«Он встал на ноги, в удивлении осмотрелся кругом, как бы дивясь и тому, что зашел сюда, и пошел на Т–в мост» (Тучков мост).

Он почувствовал, что уже сбросил с себя это страшное бремя, давившее его так долго, и на душе его стало вдруг легко и мирно. «Господи! – молил он, – покажи мне путь мой, а я отрекаюсь от этой проклятой... мечты моей!»

Проходя через мост, он тихо и спокойно смотрел на Неву, на яркий закат яркого, красного солнца... Свобода! Свобода! Он свободен теперь от этих чар, от колдовства, обаяния, от наваждения!»

Впоследствии он вспоминал это время «минуту за минутой, пункт за пунктом, черту за чертой».

И Достоевский прослеживает все это с той же тщательностью. Излагая со всей точностью маршрут своего героя, он отмечает его характерную особенность: Раскольников делает неожиданные крюки. Так было и в этот раз. Усталый, измученный, он, делая явно ненужный крюк, возвращается домой через Сенную.

Здесь, у самого К–ного переулка (Конного), он услышал разговор, решивший его судьбу. Он узнал, что на следующий день в семь часов процентщица *«останется дома одна»*.

На Сенной Раскольников вновь попадает во власть этих чар, колдовства, наваждения своей «мечты». Непонятная сила повлекла его на Сенную.

«До его квартиры оставалось всего несколько шагов. Он вошел к себе, как приговоренный к смерти».

Путь окончен.

Здесь Петербург выступает как фон, на котором резко выделяется похожая на тень фигура Раскольникова, одержимого одной мыслью. Эта мысль чужда его духу, это какое-то дьявольское наваждение, рожденное «умышленным городом», проникшее в душу его из зараженного воздуха Петербурга. Душа находится в великом борении. Мысль побеждает.

При описании маршрута интересно отметить характерную особенность Достоевского. Он постоянно измеряет, вычисляет, стремится создать точную раму для действия. Его герои, выступающие из петербургских туманов, нуждаются в этом конкретном плане, в нем они обретают связь с реальной, устойчивой обстановкой.

Этой же страстью к измерению наделяет Достоевский и Раскольникова:

«Идти ему было немного; он даже знал, сколько шагов от ворот его дома: ровно семьсот тридцать».

В произведениях Достоевского мы постоянно встречаемся с подобного рода указаниями. Эта особенность — отмерять расстояния, отмечать налево, направо и т. д. — дает возможность проследить пути его героев.

Раскольников стремится отделаться от похищенных при убийстве вещей. Он долго бродит по набережной канала, потом решается идти к Неве, на Острова.

«Но и на Острова ему не суждено было попасть, а случилось другое: выходя с В–го (Вознесенского) проспекта на площадь, он вдруг увидел налево вход во двор, обставленный со-

вершенно глухими стенами. Справа, тотчас же по входе в ворота, далеко во двор тянулась глухая небеленая стена соседнего четырехэтажного дома. Слева параллельно глухой стене и тоже сейчас от ворот, шел деревянный забор, шагов на двадцать в глубь двора, и потом уже делал перелом влево. Это было глухое отгороженное место, где лежали какие-то материалы. Далее, в углублении двора, выглядывал из-за забора угол низкого, закопченного, каменного сарая, очевидно часть какой-нибудь мастерской. Тут, верно, было какое-то заведение, каретное или слесарное, или что-нибудь в этом роде; везде, почти от самых ворот, чернелось много угольной пыли. «Вот куда бы подбросить и уйти!» – вздумалось ему вдруг. Не замечая никого во дворе, он прошагнул в ворота и как раз увидел, сейчас же близ ворот, прилаженный у забора желоб (как и часто устраивается в таких домах, где много фабричных, артельных, извозчиков и проч.), а над желобом, тут же на заборе, надписана была мелом всегдашняя в таких случаях острота: «Сдесь становитца воз прещено». Стало быть, уж и тем хорошо, что никакого подозрения, что зашел и остановился. «Тут всё так разом и сбросить где-нибудь в кучку и уйти!»».

«...У самой наружной стены, между воротами и желобом, где всё расстояние было шириною в аршин, заметил он большой неотесанный камень, примерно, может быть, пуда в полтора весу, прилежавший прямо к каленной уличной стене».

Данный прием Достоевского вовсе не является особенностью его стиля; он говорит о связи образов романа с вполне определенными местами города. Это в полной мере подтверждается и показаниями А. Достоевской (*«Примечания к сочинениям Ф.М. Достоевского»*):

«Ф. М. в первые недели нашей брачной жизни, гуляя со мной, завел меня во двор одного дома и показал камень, под который его Раскольников спрятал украденные у старухи вещи. Двор этот находится по Вознесенскому проспекту, второй от Максимилиановского переулка...»

Становится очевидным, что сюжет раскрывается автором в тесной связи с впечатлениями, получаемыми от города, действие которого на душу так ярко передано в творчестве Достоевского. Таким образом, можно предположить, что Петербург со своими улицами, каналами, отдельными домами подсказывал Достоевскому индивидуальные образы героев и определял их судьбу.

По Н. Анциферову